



М. О. ГЕРШЕНЗОН

Завещание Гоголя

Соотечественники! я вас любил, любил тою любовью, которую не высказывают, которую мне дал Бог, за которую благодарю Его, как за лучшее благодеение, потому что любовь эта была мне в радость и утешение среди наитягчайших моих страданий.

Во имя этой любви прошу вас выслушать сердцем мою *Прощальную повесть*.

«Завещание» Н.В. Гоголя

I

Спор между Белинским и Гоголем, считающийся давно законченным, не только не решен, но, можно сказать, только теперь впервые ставится на суд русского общества. Этот спор — гораздо больше, нежели эпизод из истории литературы¹. Здесь были противопоставлены друг другу два общих манифеста, имеющих вневременное значение, две системы идей, по-разному определяющих пути и средства общечеловеческого развития. Но спорщики оказались в неравном положении: в то время как манифест Белинского являлся выражением укоренившихся взглядов всей передовой части тогдашнего общества, заявления Гоголя оказались столь необычными, что не были поняты не только противным лагерем, но и своим, и не только современниками, но и последующими поколениями. Понадобилось полвека и больше, чтобы смысл его речи стал сколько-нибудь ясен. Поэтому только теперь, когда мы начинаем понимать мысль Гоголя и когда он восстанавливается в своих правах, как равноправная с Белинским спорящая сторона, — только теперь стало возможным из сопоставления обоих манифестов ясно уразуметь самый предмет спора, который до сих пор даже вовсе не признавался спором — до такой степени для всех были очевидны жалкая бессмысленность «Переписки с друзьями» и высокая правота Белинского. И тут тотчас обнаруживается, что значение этого спора выходит далеко за пределы той эпохи и личности самих спорщиков, — что здесь поставлен вопрос огромной важности, один из вечных вопросов общественно-нравственного порядка.

Благодаря стараниям наших публицистов-историков, в обществе укоренилось такое искаженное представление о «Переписке с друзьями», что даже у нас, где почти все прошлое общественной мысли обезображено в угоду политической тенденции, судьба этой книги остается беспримечной. Стоит только самому прочесть ее с некоторым вниманием, и туман легенды рассеивается без следа. Уже первое, самое общее наблюдение поражает полной неожиданностью.

По представлению публики основным пунктом разногласия между Гоголем и Белинским являлся вопрос об отношении личности к обществу: в то время как Белинский и с ним вся передовая интеллигенция видели высшее призвание человека в служении общему благу, Гоголь-де провозгласил прямо противоположный идеал — общественного индифферентизма, заботы о личном совершенствовании и личном спасении верую. Ничуть не бывало; такого разногласия между Гоголем и Белинским нет и в помине; напротив, в этом отношении они стоят на одной плоскости, как и естественно было ожидать от двух представителей одного и того же поколения. На русском языке, может быть, нет другого произведения, так беззаветно, так целостно, до малейших оттенков мысли и слова, проникнутого духом общественности, как «Выбранные места из переписки с друзьями». Вся эта книга — сплошной и страстный призыв к личности — отдать все силы на служение общему благу; другого содержания в ней нет, и все, о чем она говорит, строго подчинено этой главной мысли. Ею пропитана каждая строка этой книги, и нельзя представить себе ничего более противоположного мировоззрению Гоголя, нежели понятие индивидуализма, самодержавной личности. Весь смысл его книги заключен в этих словах: «Все дары Божьи даются нам затем, чтобы мы служили ими братьям нашим». Этой службе он закрепощает все, что ни есть в человеке, вплоть до женской красоты, которая тоже должна стать орудием общего добра, и до вдохновения лирического поэта, ибо он прежде всего требует от поэта: «Так возлюби спасение земли своей, как возлюбили древние пророки спасение богоизбранного своего народа». Жизнь, служащая сама себе целью, самодовлеющее раскрытие и напряжение жизненных сил, беспечная радость бытия для Гоголя не существуют, — он даже не оспаривает их, ему и на ум не приходит, что такая точка зрения возможна. Его мышление насквозь практично и утилитарно, и именно в общественном смысле. Жить и служить людям — для него синонимы:

мы призваны сюда, говорит он, не для празднеств, а для битвы. В «Авторской исповеди» он рассказывает (и все его развитие подтверждает это), что мысль о службе государству владела им с отроческих лет: «Мысль о службе меня никогда не оставляла. Я примирился и с писательством своим только тогда, когда почувствовал, что на этом поприще могу также служить земле своей». Это была больше, чем мысль: это было основное, господствующее чувство Гоголя в течение всей его жизни. Ему можно поверить, когда он говорит, что звуки заунывной русской песни неотступно вьются около его сердца и не дают ему покоя, что все, что ни есть в России, «всякий бездушный предмет ее пустынных пространств» глядит на него укоризненно, как будто именно он виноват в этой пустынности и нестройстве русской жизни: «И я даже дивлюсь,— прибавляет он,— почему каждый не ощущает в себе того же».

Самая поразительная особенность душевной драмы Гоголя заключается в том, что к мысли о собственной греховности перед Богом он пришел не путем безотчетного самоуглубления, *не религиозно, а утилитарно* — чрез стремление сделать себя как можно более пригодным для возможно более полезной службы родине. Он сам много раз говорит об этом: он начал воспитывать себя потому, что убедился в невозможности иначе осуществить свою цель — «устредить общество, или даже все поколение, к прекрасному». Он убедился, что творчество — великая, но и опасная сила, что слово может нанести людям неисчислимый вред и может необыкновенно подвигнуть их к добру, но только в том случае, если сам писатель «воспитается как гражданин своей земли и как гражданин всего человечества, и как кремень станет во всем том, в чем повелено быть крепкой скалой человеку». И вот ради плодотворности своих творений, ради прочной пользы, которую они должны были принести родине, он должен был очистить себя от скверны. Его собственный талант и самая его жизнь были в его глазах только орудием общественной пользы. «Мертвыми душами» он надеялся сослужить родине свою великую службу; но для того, чтобы дело это оказалось истинно полезным, ему нужны были, по его убеждению, две вещи: во-первых, воспитать свою душу, во-вторых, вобрать в себя как можно больше знания фактов из русской жизни; и первое для его сознания в такой же мере являлось средством, как и второе. Первого он добивался нравственной борьбой в себе самом, второго старался достигнуть неустанными просьбами о сообщении анекдотов и мелочей, рисующих русский быт.

Нельзя понять, что думал Гоголь о личной ответственности человека пред Богом; он часто говорит о необходимости для каждого спасти свою душу, но как и сам он стремился спасти свою душу не для себя, а только для успешности своей работы на общую пользу, так и вообще идея спасения в его глазах неотделима от деятельности на общую пользу: он просто не мыслит ее вне этой связи, так что чувство ответственности за общее зло не только по времени предшествовало в нем нравственному перелому, но и было источником последнего и осталось центральной пружиной религии Гоголя. В «Переписке с друзьями» эта связь идей носит уже характер законченной системы; и так сильна была в Гоголе врожденная склонность духа, о которой здесь речь, что, свято чтя православную церковь и учение ее св. отцов, он даже не замечает, как сильно разошелся в своих взглядах с этим учением. Он рассуждает так: без любви к Богу человек не может спастись, но Бога нельзя полюбить непосредственно — ибо как полюбить то, чего никто не видал? Но Христос открыл людям тайну, что «в любви к братьям получаем любовь к Богу». Отсюда Гоголь выводит такой силлогизм: «Не полюбивши России, не полюбите вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам». Итак, есть только один путь спасения — служба родине. Вы хотите спастись? — «монастырь ваш — Россия. Облеките же себя умственно рясой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней».

К тому времени, когда писались письма и статьи, вошедшие в «Выбранные места из переписки с друзьями», чувство ответственности и тревога за русскую жизнь достигли в Гоголе наивысшей остроты. Они росли в нем, если можно так сказать, в арифметической и в геометрической прогрессии — по мере того, как он все более уяснял себе смысл своего творчества, совпадавший для него с общественной пользой, и по мере того, как самый процесс этого творчества все глубже вводил его в недра русской жизни и раскрывал пред ним «пугающее отсутствие света» в ней. Пусть врачи отыскивают физические основания душевной болезни Гоголя, — нравственно она выразилась в том, что он тяжело заболел совестью за все зло русской жизни. Его отношение к родине из любви выросло в жгучую тревогу, почти в ужас, и этим чувством, вызвавшим к жизни самую книгу его писем, дышит каждая ее строка. Эта книга — как набат в глухую

полночь; невнятными от ужаса словами она кричит: Россия гибнет! проснитесь, спящие, нельзя медлить! Пристально вглядываясь долгие годы, Гоголь рассмотрел не только страшную сеть пошлости, опутавшую Россию, но и невидимые слезы ее детей, и страх за нее усугублен в нем состраданием к ней. Ему кажется, что никогда еще Россия так громко не звала своих сыновей: «Уже душа в ней болит, и раздается крик ее душевной болезни», уже все в ней «сливается в один потрясающий вопль», «уже и бесчувственные подвигаются». И потому он не устает молить всех встать на служение ей и манить всех посулом собственного спасения: «Кто даже и не в службе, тот должен теперь вступить на службу и ухватиться за свою должность, как утопающий хватается за доску, без чего не спастись никому».

Таков общий смысл этой книги. Больше той любви к родине, какая сказалась здесь, не может быть.

II

Итак, Гоголь во всяком случае стоит на той же почве, что Белинский: оба они исповедуют исключительный общественный идеализм, всецело поглощающий личность; оба признают единственной разумной целью всякого индивидуального бытия — не личное счастье, не наслаждение красотой, не самочинное личное развитие до высшего типа силы или святости, а выработку некоторых идеальных форм общественной жизни. Естественно думать, что самый идеал общества, провозглашаемый целью, рисуется обоим в различном виде. Но на этом вопросе нам нет надобности останавливаться. Ни Гоголь, ни Белинский не формулируют своей общей мысли — оба все внимание обращают на выяснение *ближайших* путей и средств к усовершенствованию общества, и при внимательном рассмотрении этих путей оказывается, что конечные идеалы Гоголя и Белинского, в общем довольно смутные, несравненно больше совпадают, чем это кажется на первый взгляд; кажущаяся противоположность между ними объясняется больше всего тем, что Гоголь намечает преимущественно нравственные признаки того идеала, который Белинскому рисуется только в его внешних очертаниях.

Основное разногласие между Гоголем и Белинским касается тех средств, которые тот и другой признают наиболее действительными для достижения установленной цели. В этом отношении между

ними — целая бездна. Оба они в своих односторонних утверждениях являются представителями двух исконных категорий человеческой мысли, и именно это сообщает непреходящее значение их спору, в котором отчетливо противостояли друг другу крайние полюсы всякого мышления по вечному вопросу о способах улучшения общественной жизни.

Точка зрения Белинского типична для русской радикальной интеллигенции. Он общественник не только в смысле целей, но и в отношении указываемых им средств. Вся его практическая программа выражена в следующих словах: «уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть». Это — чисто государственная программа; другими словами, для Белинского единственный путь прогресса — путь общественных реформ, создание и преобразование *институтов* в общеюридическом значении этого слова.

Совершенно иначе смотрит на дело Гоголь. Не менее Белинского общественник в смысле целей, он в отношении средств индивидуалист чистой воды. Поэтому в то время, как программа Белинского построена всецело на политических идеях, программа Гоголя по существу психологична; материал, из которого она строит, — нравственные силы человеческого духа.

Эти взгляды Гоголя органически выросли из особенностей его художественного дарования, и иначе не могло быть. Его творчество характеризуется двумя основными чертами: необычайной зоркостью и отчетливостью в распознавании элементарных душевных движений, из которых слагается человеческая действительность, и умением из этих подмеченных реальных элементов воссоздавать живые образы, совершенно нереальные, но одушевленные какою-то высшею жизнью благодаря непостижимой закономерности в преувеличении отдельных элементов и непостижимой соразмерности в их сочетании, — так, «чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем». Если эта последняя, синтетическая творческая способность оставалась принадлежностью только Гоголя-художника, то своеобразный характер наблюдения являлся, разумеется, постоянным свойством его ума, и естественно, что в своем мышлении об обществе он работал над тем самым материалом, который был им накоплен в художественном опыте. Острота его зрения была изумительна. Где простой глаз видит только глыбу, он совершенно отчетливо различал все

песчинки, из которых она состоит; молекулярность общественной жизни была для него до такой степени осязательна, что всякое явление действительности как бы механически разлагалось в его уме на свои частные элементы: общественный быт — как взаимодействие отдельных личностей, каждая личность — как сложное сочетание первичных душевных движений, и каждый из этих первичных элементов воспринимался им с такой непосредственной четкостью, о которой мы только приблизительно можем составить себе представление. Это не значит, конечно, чтобы Гоголь мыслил личность отрешенною от общей жизни; разумеется, он видел в обществе не механическое соединение отдельных людей, — совершенно напротив: он с необыкновенной силою ощущает реальность тех нравственных токов, которые в обществе исходят от каждого на всех и от всех на каждого. Но опыт зорких наблюдений научил его, что самые эти токи являются реальными не в воздухе, где они только для отвлеченного мышления пересекаются сложной сетью, а лишь в отдельной личности, т. е. в точке их исхождения или, напротив, восприятия. Таким образом, материал, которым он располагал для суждений о способах усовершенствования общественной жизни, был совершенно исключительного свойства; сквозь всю запутанность жизни он разглядел первичные движущие силы — это были психические движения, совершающиеся внутри отдельной личности, — и каждый из этих элементов он созерцал уже воочию, как ботаник, вырыв растение из земли, очищает от комков и раздвигает отдельно корневые нити. Художническая работа сделала его, так сказать, специалистом науки об обществе, и общепринятые представления об этом предмете естественно должны были казаться ему безнадежно-поверхностным дилетантизмом. Гоголю была, конечно, знакома идеология современной ему русской интеллигенции, — идеология, оставшаяся неизменной донныне, — по которой прогресс общества совершается путем общественных мероприятий, т. е. изменения *форм* общей жизни. Легко понять, как мучительно было для Гоголя видеть такое грубое заблуждение. Оно должно было представляться ему плодом отвлеченного и поверхностного мышления, основанного на полном незнакомстве с реальными элементами общественной жизни, которые он так явственно видел. Что могли значить для него те или другие формы общественной жизни, когда он неопровержимо знал, что все существование общества определяется состоянием корней, что корни эти — в душе людей, образующих общество,

и что, следовательно, улучшить общую жизнь можно только путем оздоровления корней, т. е. приучив каждую отдельную душу функционировать правильно? Мог ли он ждать пользы от тех новых законов, «сообразных с здравым смыслом и справедливостью», на которые заранее возлагал все надежды Белинский, когда он твердо знал, что все дело — в применении закона, что во всем виноват «применитель, стало быть, наш же брат?»

Такова была вторая цель Гоголя при издании «Выбранных мест из переписки с друзьями», — ибо первую был призыв к согражданам стать на защиту гибнущей родины. Заблуждению о спасительности общественных мер он хотел противопоставить иную «программу реформ» как единственно реальную, потому что основанную на пристальном изучении подлинной, конкретной жизни.

III

Вся эта программа резюмируется четырьмя словами Гоголя: *«В душе ключ всего»*. «Душу и душу нужно знать теперь, а без того не сделать ничего». Мы уже видели, что это значит; единственно реальная движущая сила истории — душа отдельного человека; весь быт общества, в свою очередь могущественно влияющий на индивидуальную психику, определяется нравственным уровнем, на котором стоят его отдельные члены; стало быть, все усилия, имеющие целью усовершенствование общей жизни, должны быть направлены на исправление отдельных душ. Это для Гоголя не догмат спиритуалистической веры, а просто «реальная политика», тактическая директива, основанная на строго научном изучении действительности. В душе ключ не только к нравственному подъему общества, но и к его материальному развитию, к так называемым благам культуры. *«Устроить дороги, мосты и всякие сообщения... есть дело истинно нужное; но угладить многие внутренние дороги, которые до сих пор задерживают русского человека в стремлении к полному развитию сил его и которые мешают ему пользоваться как дорогами, так и всякими другими внешностями образования, о которых мы так усердно хлопочем, есть дело еще нужнейшее... В России давно бы уже завелась вся эта дрянь сама собою... если бы только многие из нас позаботились прежде о деле внутреннем так, как следует.* «О сем помыслите прежде, — сказал Спаситель, — а сия вся вам приложится». И это убеждение в Гоголе опять-таки не априорно, а логически вытекает

для него из того неопровержимого факта, что душа человека есть главная пружина, движущая *всю* жизнь.

Итак, надо действовать на души. А если так, то очевидно, что успех влияния будет тем прочнее, чем более мы постараемся действовать на душу непосредственно, — не на внешние условия, от которых она зависит, и не на отдельные дурные ее проявления, а, так сказать, на самый организм души. Мысль Гоголя та, чтобы каждый человек, желающий послужить обществу, стремился в кругу своего влияния не к искоренению частных видов зла, а к оздоровлению самого источника, откуда вытекают и добро, и зло, — к оздоровлению душ; это и значит «закалять дело накрепко и навеки». Каждый должен помнить, что он стоит в своем кругу только на время: «Вы должны рубить зло *в* *корне*, а не в ветвях, и дать такой толчок всеобщему движению всего, чтобы после вас пошла сама собой работать машина». Рубить зло в корне значит нравственно перевоспитывать людей, на которых простирается твое влияние.

И тут естественно на первое место выступает для всякого общественного деятеля (а таким должен быть *каждый* человек) обязанность воспитаться самому, и именно по двум причинам: во-первых, человек с непросветленной душой делает вред своим ближним, соблазняя их примером своей дурной жизни, вовлекая их в проступки и пр.; во-вторых, для того, чтобы принести пользу ближним, чтобы добросовестно послужить обществу, нужно вытравить в себе весь эгоизм, все мелочное честолюбие и самолюбие, гнев, гордость, нетерпимость, склонность к поспешным решениям. И опять нравственное совершенствование, по Гоголю, постулируется не этически и не религиозно, оно не есть ни цель само по себе, ни путь к слиянию с Богом: оно — не более, как общественно-утилитарное орудие. «Себя даже самих вы не можете теперь сделать лучше, потому что и этого нельзя сделать, не подумавши прежде о том, чтобы сделать других лучшими, — так тесно наша собственная жизнь и наше собственное образование соединены с нашими ближними», т. е. ничто не может заставить меня пожелать стать лучше, кроме возникшего во мне желания послужить людям. «Мы все так странно и чудно устроены, что не имеем сами в себе никакой силы, но как только подвигнемся на помощь другим, сила вдруг в нас является сама собою».

Нельзя выразиться яснее. Вдумываясь в эти заветы Гоголя, я с удивлением спрашиваю себя: где же религия Гоголя, в чем за-

ключалась его «религиозная драма», о которой столько говорят? Я нигде не нашел ее следов. Куда ни обращусь, на всем пространстве его учения царит один повелительный закон — общее благо. Он был одержим мечтою о прекрасной, светлой, гармонической жизни на земле, это лучезарное видение жгло его душу, и жгли ее тьма и неустроенность русской действительности, и весь он отдался делу земного благоустройства. Он практик от головы до ног, «ум мой, — говорит он, — был всегда склонен к *существенности* и к *пользе*», и если объектом своей и всякой деятельности он избирает не материальные условия жизни, не формы общего быта, а душу человека, то единственно из практических соображений, потому что убедился на опыте, что «в душе ключ всего». Личность и закон Христа занимают в его учении центральное место, но играют только служебную роль: в Христе мы имеем недосыгаемый образец тех самых душевных свойств, которые нужны всякому для наиболее успешного служения общему благу, а в его учении — как бы лучшее, какое когда-либо было написано, руководство к выработке этих качеств в себе и в других. Христос для Гоголя — как бы величайший специалист обществоведения, изучивший, как никто, законы исторического бытия, другими словами — законы душевной жизни человека. Он рассказывает в «Авторской исповеди», как работа над «Мертвыми душами» привела его к сознанию необходимости получше узнать природу человека; он стал «преследовать жизнь в ее действительности, а не в мечтах воображения», и на этом пути незаметно пришел ко Христу, увидев, «что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял Он», — и *проверив* его учение «*поверкой разума*», он убедился, что оно верно, что оно указывает наиболее соответствующие реальной действительности и, значит, наиболее целесообразные (в практическом смысле) приемы действия. «От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, *ловить душу его в малейших чертах и движениях его*, которые пропускаются без внимания людьми, — и я пришел к Тому, Который один полный ведатель души и от Кого одного я мог только *узнать полнее душу*». Здесь нет и намек на религию в прямом значении этого слова. Чтобы научиться реально, а не в мечтах и на бумаге, перестраивать жизнь, нужно, разумеется, предварительно как можно трезвее и детальнее изучить ее, какова она есть от века; лучшим ее знатоком и тактиком оказался Христос — вот и все.

Я не хочу сказать, что у Гоголя не было веры. Глубокая религиозность его натуры стоит вне сомнения; но в чем состояла его религия, мы еще не знаем. Этот вопрос требует новых исследований; во всяком случае, то, что написано до сих пор о его религиозном переломе, кажется мне мало основательным. Может быть, религия Гоголя состояла в нерасчлененном, но чрезвычайно живом ощущении сверхъестественных сил и в нераздельной с этим чувством вере в загробную жизнь, — и тогда связью между этой его религией и столь сильным в нем социальным чувством являлось убеждение, что каждого, кто прямо или косвенно делал вред своему обществу или даже только нерадиво служил ему, — для каковой службы человеку только и дается жизнь, — ждет страшное наказание за гробом.

Если верно, что сердце человека там, где его сокровище, то сердце Гоголя принадлежало не Богу, а народному благу, России; с Богом его связывал только *страх*, в Христе он чувствовал только тонкого психолога. Он сам мучительно ощущал в себе это раздвоение между небесным и земным и жаждал чистой веры, но он был не властен отдать Богу свое сердце, полное Россией. В январе 1848 года, готовясь к поездке в Св. Землю, он пишет о Матвее: «... Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе. Признаю Христа Бога человеком только потому, что так велит мне ум мой, а не вера. Я изумился Его необъятной мудрости и с некоторым страхом почувствовал, что невозможно земному человеку вместить ее в себе, изумлялся глубокому познанию Его души человеческой, чувствуя, что так знать душу человека может только Сам Творец ее. Вот все, но веры у меня нет. Хочу верить, и несмотря на все это, я дерзаю теперь идти поклониться Святому Гробу... Скажите мне: зачем мне, вместо того, чтобы молиться о прощении всех прежних грехов моих, хочется молиться о спасении русской земли, о водворении в ней мира, namесто смятения, и любви namесто ненависти к брату? Зачем я помышляю об этом, namесто того, чтобы оплакивать собственные грехи мои?»

IV

В мировоззрении Гоголя своеобразно сочетались два начала: непоколебимый консерватизм в отношении ко всей материальной действительности и самый смелый радикализм в отношении к человеческому духу. Все существующее, начиная с явлений природы и кончая наличными формами общественного быта, об-

ладает в его глазах безусловной, божественной закономерностью: все это явилось «не даром». Не даром Бог повелел иным женщинам быть красавицами, нет власти иначе, как от Бога, никто не вправе покидать место, на которое поставил его Бог, помещик должен оставаться помещиком, крепостной — крепостным, «потому что взыщет с тебя Бог, если б ты променял это звание на другое, потому что всякий должен служить Богу на своем месте, а не на чужом», и т. д. и т. д., — словом, самый крайний, самый необузданный религиозный детерминизм, делающий то, что от признания закономерности существующих форм Гоголь незаметно для самого себя переходит к удивлению перед этой закономерностью, а отсюда и к радостному принятию самих форм. В этом чувстве коренится весь политический консерватизм Гоголя, так неверно понятый у нас. Вот почему он неистощим в восхвалении государственной мудрости, обнаруживающейся в политическом и административном устройстве Российской империи: «Слышно, — говорит он, — что Сам Бог строил незримо руками государей».

Итак, все, что существует, должно оставаться неизменным. Так учил Христос, так внушала Гоголю его идея о Боге, и так говорил ему его разум, ибо все исторически сложившиеся формы стихийно обусловлены действием основных сил, создающих жизнь, именно нравственных побуждений миллионов отдельных личностей в длинном ряде поколений.

Народ представляется Гоголю состоящим из бесчисленного множества взаимно-пересекающихся кругов. Каждый человек есть центр некоторого круга — круга своих ближайших собратьев, на которых он влияет нравственно, и вместе с тем каждый человек входит в состав многих других кругов, т. е. в сферу влияния многих других людей. Так образуется сплошная круговая ответственность всех членов общества за весь общественный быт. Другими словами, каждый человек непрерывно исполняет общественную функцию, каждый состоит на службе у государства: его службою является влияние, которое он оказывает на окружающих его людей. Никто не может оправдываться тем, что он не у дел, что у него нет должности: на какое бы место ни поставили тебя обстоятельства, — всюду вокруг тебя люди, следовательно, всюду ты можешь и должен служить государству добрым влиянием на них. Но, разумеется, должность (в узком смысле слова) имеет преимущества: она расширяет круг и увеличивает средства влияния, и тем больше, чем должность значительнее.

Итак, есть только один путь к обновлению жизни, только одна форма истинно-полезной общественной деятельности — нравственное влияние каждого отдельного человека на каждого в отдельности из окружающих его, как личным примером, так и увещанием. Очевидно, что такое влияние одной индивидуальной души на другую может быть плодотворным только при двух условиях: если влияющая душа чиста сама по себе и бескорытна для самоотверженной заботы о ближнем, и если тот, кто влияет, с величайшей тщательностью изучит ту душу, на которую он собирается влиять, и обстоятельства, среди которых она живет, так как в противном случае его влияние окажется слишком суммарным и не попадет в цель: здесь, как и при лечении телесных болезней, требуется самое строгое индивидуализирование. Сообразно с этими общими положениями практическая программа Гоголя распадается на три части: на указание способов самосовершенствования, диагностику и терапию. «Выбранные места из переписки» и представляют собою практическое руководство по всем этим трем отраслям душеведения и душеустройства. Вы должны глядеть на весь город, писал Гоголь Смирновой, «как лекарь глядит на лазарет».

О первой части мы уже говорили. Ключ к трудной науке самосовершенствования, по Гоголю, лежит в христианстве. Но христианство — не единственный путь, а только самый прямой. Есть много окольных путей, «незримых ступеней к христианству»; из них главный — искусство. С этой точки зрения Гоголь в своей книге подробно разбирает влияние театра и поэзии, выясняет пользу «чтения русских поэтов перед публикою», русского перевода «Одиссеи» и проч.; с этой точки зрения определяет он и значение русской поэзии: «Поэзия наша звучала не для современного ей времени, но, чтобы — если настанет, наконец, то благодатное время, когда мысль о внутреннем построении человека в таком образе, в каком повелел ему состроиться Бог из самородных начал земли, сделается, наконец, у нас общею по всей России и равно желанною всем, — то чтобы увидели мы, что есть действительно в нас лучшего, собственно нашего, и не позабыли бы его вместить в свое построение».

Не меньшее значение придает Гоголь тому, что мы выше назвали диагностикой. Его письма переполнены самыми мелочными указаниями на этот счет и самыми настойчивыми советами не пренебрегать этим делом. По его мнению, вся наша беда в том, что мы глядим не в настоящее, а в будущее. «Безделицу позабыли:

позабыли, что пути и дороги к этому *светлому* будущему сокрыты именно в этом *темном* и *запутанном* настоящем, которого никто не хочет узнавать». Он пишет Данилевскому: «Ты все еще не схватил в руки кормила своей жизни, все еще носится она бесцельно и праздно, ибо о другом грезит дремлющий кормчий: не глядит он внимательными и ясными глазами на плывущие мимо и вокруг его берега, острова и земли, а все еще стремится усталый, бессмысленный взор на то, что мерещится в туманной дали, хотя давно уже потерял веру в обманчивую даль», — и он умоляет друга хоть один год заняться его деревней, не усовершенствовать, не вводить новшеств, даже не распоряжаться, а только «войти во все».

Главное, конечно, человек.

Без усталости, неисчислимого количества раз он доказывает необходимость изучить «с ног до головы во всех подробностях» каждого из людей, входящих в круг нашего влияния. «По-моему, — говорит он, — чтобы помочь кому-либо, нужно узнать его всего насквозь, а без того я даже не понимаю, как можно кому-либо дать какой-либо совет: всякий совет, какой ему не дашь, будет обращен к нему своей трудной стороной, будет не легок, неудобноисполним»; только при этом условии можно найти для каждого такие слова, «которые попали бы прямо куда следует, ни выше, ни ниже того предмета, на который направлены». И тут он опять настаивает, что ключ к чужой душе лежит в нашей собственной: «узнавать душу может один только тот, кто начал уже работать над собственной душой своей». Так было, — говорит он, — и с ним самим: если он больше других знает человеческую душу, то лишь потому, что глубже других всматривался в собственные мерзости. Только в работе над самим собою могут обнаруживаться пред человеком «исходы, средства и пути».

В «Выбранных местах из переписки» Гоголь дал несколько примерных образчиков такого диагностического исследования. Вот случай, так сказать, общего свойства: человек, вообще желающий послужить России. Он должен узнать Россию в ее типических представителях. «Таким же самым образом, как русский путешественник, приезжая в каждый значительный европейский город, спешит увидеть все его древности и примечательности, таким же точно образом и еще с большим любопытством, приехавши в первый уездный или губернский город, старайтесь узнать его достопримечательности. Они не в архитектурных строениях и древностях, но в людях... Познакомьтесь прежде всего с теми

из них, которые составляют соль каждого города или округа; таких бывает человека два или три в каждом городе. Они вам в немногих чертах очертят весь город, так что вам будет видно уже самому, где и в каких местах производить наиболее наблюдение над нынешними вещами. В разговоре с человеком передовым из каждого сословия вы от него узнаете, что такое всякое сословие в нынешнем его виде. Расторопный и бойкий купец вдруг вам объяснит, что такое в их городе купечество; порядочный и трезвый мещанин даст понятие о мещанстве» и т. д.

Это случай общий, где требуется исследование типологическое. А вот ряд частных случаев: здесь должны применяться совсем другие приемы. Губернаторша должна изучить всех чиновников в городе до единого. От *каждого* из них она должна лично узнать его имя, отчество и фамилию, в чем состоит предмет его должности и где ее пределы, какое добро может быть сделано в его должности при нынешних обстоятельствах и какое зло. Потом точно так же должна она изучить всех женщин городского общества, и не только дела и занятия каждой, но и образ мыслей и вкусы: «Что кто любит, что кому из них нравится, на чем конек каждой», словом, «женщин всех насквозь!» — и т. д. на многих страницах. Генерал-губернатор начнет с занимающих главные должности; каждого из них он должен, путем личных расспросов, узнать со всех сторон, с его домашней и семейной жизнью, с его образом мыслей, наклонностями и привычками. «Вы станете покрепче всматриваться в душу человека, зная, что в ней ключ всего... Если вы узнаете плута не только как плута, но и как человека вместе, если вы узнаете все душевные его силы, данные ему на добро и которые он поворотил во зло или вовсе не употребил, тогда вы сумеете так попрекнуть его им же самим, что он не найдет себе места, куда ему укрыться от самого же себя».

Частные письма Гоголя полны таких наставлений. Когда в 1844 г. один из сыновей С. Т. Аксакова (Григорий) поступил на службу во владимирскую уголовную палату, Гоголь через отца настоятельно советовал молодому человеку изучить «насквозь» не только палату, но и весь Владимир, и не только весь Владимир, «но даже источники всех рек, текущих со всех сторон губернии в палату», не пропустить никого из чиновников, купцов и мещан, всякого расспросить (и научиться опрашивать), не пренебрегая и глупыми; и опять тот же довод: чтобы делать добро, т. е. чтобы нравственно влиять на людей, надо в подробностях узнать механизм челове-

ской души вообще, затем особенности русской души и, наконец, частные свойства каждой отдельной души, на которую собираешься влиять. О том же беспрестанно писал Гоголь своим сестрам, жившим в деревне, не скучая десятки раз доказывать необходимость войти в быт каждой крестьянской семьи, изучить каждую бабу на селе и проч.

А затем следует терапия — искусство влиять. Эту важнейшую часть техники общественного дела Гоголь также разработал до малейших подробностей, и опять совершенно в практическом духе. На этот счет в «Переписке с друзьями» опять рассмотрено несколько примерных случаев: что могут сделать — жена в семье, женщина в свете, губернаторша, помещик, губернатор, генерал-губернатор. Чистая женщина уже самой чистотой своей служит общему благу: «Кто не смеет себе позволить при вас дурной мысли, тот уже ее стыдится; а такое обращение на самого себя, хотя бы даже и мгновенное, есть уже первый шаг человека к тому, чтобы быть лучше». Если жена не будет расточительна, если она внесет строгий порядок и содержательность в семейную жизнь, она тем самым окажет облагораживающее влияние на мужа и удержит его от многих общественных пороков, например от взяточничества. Губернаторша — первое лицо в городе, ей подражают во всем; пусть же она старается влиять личным примером; если она даже только станет гнать роскошь — уже и то хорошо; «не пропускайте ни одного собрания и бала, приезжайте именно затем, чтобы показаться в одном и том же платье; три, четыре, пять, шесть раз надевайте одно и то же платье. Хвалите на всех только то, что дешево, просто». Еще большее влияние имеет губернатор. «Поверьте, что не сделай он визита какому-нибудь господину, об этом будет весь город говорить: станут расспрашивать, за что и почему, и этот самый господин из-за этой единственной боязни струсит сделать подлость, которую он не струсил бы совершить пред лицом власти и закона», и т. д., все в том же роде. Частные письма Гоголя переполнены такими детальными указаниями. Всюду строго проводится одна мысль: что прочное обновление общества может быть достигнуто только индивидуальным нравственным влиянием одной души, более просветленной, на другую отдельную душу, менее просветленную. Оттого и лирическому поэту Гоголь предписывает путь индивидуального воздействия на типичных представителей общества: «Попрекни прежде всего сильным лирическим упреком умных, но унывших людей... воззови, в виде лирического сильного

воззвания, к прекрасному, но дремлющему человеку... опозорь в гневном дифирамбе новейшего лихоимца... возвеличь в торжественном гимне незаметного труженика» и т. п., ибо в отдельной душе, в совокупности отдельных душ — ключ всего.

V

Нам остается еще изложить ту часть гоголевского учения, в которой он сам видел практическое основание своей системы. Раз каждый гражданин несет общественную службу, раз он — воин, борющийся за благо родной страны, он должен быть и закален, как воин: отсюда учение Гоголя о дисциплине личной жизни. Вполне естественно, что он сурово осуждает уныние и праздность; но он противопоставляет им не только общие их противоположности — бодрость и неустанный труд, — он требует еще самой щепетильной, педантической регламентировки всего личного обихода. Крепость воли в его глазах — условие всякой деятельности; без нее человек распускается в жизни, как мыло в воде, и все его достоинства исчезают в беспорядке действий. А выработать в себе эту крепость можно только строжайшей дисциплиной, прежде всего — дисциплиной внешней: «Укрепясь в деле вещественного порядка, вы укрепитесь нечувствительно в деле душевного порядка». Поэтому он не устает проповедовать: крепитесь и будьте упрямы, будьте педантичны в каждом вашем деле и в распределении дня; «важно то, чтобы в человеке хотя что-нибудь окрепнуло и стало непреложным; от этого невольно установится порядок и во всем прочем».

И вот он учит «жену» учиться этой крепости. Он велит ей исполнять его предписания целый год, «не рассуждая пока, зачем и к чему это». Предписания его заключаются в том, чтобы завести строгий порядок в домоводстве. Пусть она заранее вычислит, сколько она должна издержать в год, и пусть разделит эту сумму на «семь куч»: в одной куче — деньги на квартиру с дровами и пр., в другой — на стол, и т. д., в седьмой — на помощь бедным. Избави ее Бог смешивать эти кучи; каждой должен вестись счет особо, и ни под каким видом не должна она занимать из одной кучи в другую; так, если бы даже на ее глазах совершилось несчастье, раздирающее душу, а у нее седьмая куча уже издержана, она и тогда не смеет дотрагиваться до других куч, чтобы помочь нуждающемуся: пусть она, унижая себя, поедет по знакомым, пусть делает все другое, лишь бы не нарушить порядка; «Будьте

упрямы, просите Бога об упрямстве». И точно так же, пусть она правильно распределит свое время: «положите всему непрменные часы». В другой раз, в частном письме к Смирновой, он советует ей даже установить такой порядок, чтобы ее свидания с мужем происходили всегда в одно и то же время и продолжались не более положенного времени.

Его письма к сестрам на две трети наполнены самыми точными указаниями, имеющими целью приучить их к дисциплине. Пусть каждая из сестер возьмет на себя какую-нибудь одну отрасль хозяйства, и пусть каждая по своей части ведет строгий счет, который раз в месяц представляется матери, а в конце каждого месяца они должны составить из себя комитет и обсудить каждую издержку сравнительно с прочими и с точки зрения ее необходимости; ты, Анна, займись огородом, — и он посылает ей книжку, содержащую «полное наставление для всякой зелени порознь». В этих наставлениях существо дела — как-то: помощь матери в хозяйстве, необходимость надзора за приказчиком, бережливость и пр., — играет второстепенную роль: главное — приучить себя к упорядоченной работе, чтобы тем закалить свою волю. Той же задаче должна служить и аккуратность в распределении дня. Этим требованием Гоголь положительно донимает сестер; сестра Анна должна научиться переводить с немецкого, потому что это может дать ей в будущем кусок хлеба, но главное то, чтобы переводила она «решительно всякий день и в одно и то же время», и т. п. Можно подумать, что он помешался на дисциплине. В январе 1844 года он пишет из Ниццы Шевыреву письмо, в котором просит его немедленно купить в лавке четыре миниатюрных экземпляра «Подражания Христу», один из них оставить у себя, а остальные три раздать С. Т. Аксакову, Погодину и Языкову, «в конце письма, — пишет он, — ты увидишь лаконические надписочки, которые разрежь ножницами и наклейте на всяком экземплярике». Эти надписочки заключали в себе «рецепт употребления самого средства», — рецепт заключался в том, чтобы каждый из одаренных ежедневно поутру, «всего лучше сейчас после кофья», читал «Подражание Христу» в течение одного часа, ни больше, ни меньше. В частности Языкову он предписывает делить утро на две половины и начало каждой посвящать, в размере одной четверти часа, чтению одной и той же книги, по одной странице, не более: в первой половине — «Подражания Христу», во второй Библии; обе эти половины должны начинаться ежедневно в одно и то же

время, минута в минуту. Это чтение Гоголь называет лекарством от душевных беспокойств и тревог, но ясно, что целительную силу он приписывает здесь не одному чтению: это была маленькая хитрость учителя, к каким Гоголь прибегал нередко.

VI

Изложенное здесь учение Гоголя о человеке и обществе должно было составить идейный остов остальных частей «Мертвых душ». То, что уцелело от второго тома этой поэмы, не может быть понято иначе; весь пестрый узор характеров, происшествий и разговоров, составляющих содержание этого тома, расположен по генеральным линиям этой философии. Устами своих положительных героев Гоголь высказывает здесь ее основные положения. Устами генерал-губернатора он в торжественную минуту призывает всех спасать Россию, ибо гибнет уже наша земля не от нашествия врагов, а от нас самих: пусть всякий восстанет против неправды, пусть вспомнит долг, который на всяком месте предстоит человеку. Устами Муразова он говорит, что не будет земного благоустройства, пока люди не подумают о благоустройстве душевном, ибо «от души зависит тело». Примером обоих (отношением Муразова к Хлобуеву и Чичикову, обращением генерал-губернатора к его подчиненным) он рисует образец того нравственного влияния на ближних, в котором он видел долг человека и прямой путь к обновлению жизни. В Костанжогло он воплотил свою мысль о труде и дисциплине, делающих человека «мужем» и устрояющих общество. Костанжогло должен был в образе воплотить тот идеал, который рисовал Гоголь в статье «Русский помещик» в «Выбранных местах из переписки с друзьями», — как чистая Улинька, при которой смущается и немеет недобрый человек, должна быть идеалом «женщины в свете», как воплощением христианского идеала «службы» должен тот чиновник особых поручений при генерал-губернаторе, который, «не сгорая ни честолюбием, ни желанием прибытков, ни подражанием другим, занимался только потому, что был убежден, что ему нужно быть здесь, а не на другом месте, что для этого дана ему жизнь». А рядом с этими идеальными типами — целая вереница отрицательных, тоже по схеме знакомого нам учения: Тентетников, Хлобуев, Платонов как разновидности человека, лишённого дисциплины, и пр. и пр. Вся в целом поэма должна была явиться художественным воплощением той мысли, которую Гоголь выразил

в своем предсмертном обращении к «друзьям»: «Не смущайтесь никакими событиями, какие ни случаются вокруг вас. Делайте каждый свое дело, молясь в тишине. Общество тогда только поправится, когда всякий частный человек займется собою и будет жить, как христианин, служа Богу теми орудиями, какие ему даны, и стараясь иметь доброе влияние на небольшой круг людей его окружающих. Все придет тогда в порядок, сами собою установятся тогда правильные отношения между людьми, определятся пределы законные всему. И человечество двинется вперед».

Этими средствами думал Гоголь спасти Россию, ради *этих* мыслей — чтобы воплотить их в образы на пользу людям в последних частях своей поэмы — обрек он себя подвижничеству. Нельзя крепче верить, чем верил Гоголь в правильность открытых им путей, и нельзя беззаветнее служить истине, чем Гоголь служил своей. Он сам в последние 10 лет своей жизни олицетворил в себе свой идеал служения общему благу. Решив, что и на писательском поприще можно послужить государству, он уже ничего не жалел, чтобы сослужить свою службу честно: отказался от всех соблазнов мира, положил все силы души на нужное для плодотворности службы самоусовершенствование и жадно старался узнать предмет своей «должности» — душу человека и русского человека в особенности.

Столько ума, столько воли, усилий и страданий — и все в жертву заблуждению! Ложна была не мысль Гоголя сама по себе, — она стала заблуждением только потому, что он не додумал ее до конца. Мы видели, что мысль заключалась в том, что единственной *реальной* движущей силой в человеческом обществе является душа отдельного человека и что поэтому единственным средством приблизить общежитие к идеалам правды и добра является перевоспитание отдельных душ. Этим наблюдением он выразил великую и простую истину, незыблемую на все времена. Но открыв в индивидуальном духе основной фактор истории, он затем счел уже возможным пренебречь всеми не-индивидуальными элементами общежития как вещью производной и потому лишенной самостоятельного значения. В этом и заключалась его ошибка. Он не понял, что эти не-индивидуальные силы, рождающиеся из соединения индивидуумов в общество, вступают в реальное взаимодействие с каждой отдельной душой. Он хотел оставить неизменными общественные формы и революционировать только отдельные сознания, не заметив того, что каждое революционное

движение в недрах отдельной души необходимо влечет за собою частичное разрушение общественной формы (со стороны данного человека) и, наоборот, что самочинное изменение общественных форм частично преобразует сознание людей, захваченных этой переменной. Так, христианское совершенствование, проповедуемое им, неизбежно должно привести человека к сознанию, что крепостное право — грех, и тогда он должен был бы отказаться от власти над своими крестьянами (на эту сторону ошибки Гоголя указал уже в своем знаменитом письме Белинский), и, наоборот, законодательное упразднение крепостного права явилось реальной воспитательной силой для личности, как и вообще всякое общественное мероприятие, принудительно регулируя поступки людей, вызывает атрофию или ускоренное развитие соответственных наклонностей в каждом отдельном человеке. Он не понял этого, и оттого не понимал, что Муразов, если он точно христианин, *не может* оставаться откупщиком, т. е. спаивать народ, что его добродетельный помещик *не может* оставаться рабовладельцем, что необходимо восстать против крепостного права, которое психологически мешает людям стать христианами, и т. п. Отсюда роковая ошибка Гоголя в указании средств, могущих привести к обновлению жизни: он рекомендует исключительно путь индивидуального воздействия — личным примером и увещанием, тогда как *его собственная мысль* открывала не этот один, но *три* пути: воздействия не только личности на личность, но и личности на общество и общества на личность. Все три ведут к той единственно существенной цели, которую поставил Гоголь: к перевоспитанию индивидуального духа.

Так система, воздвигнутая Гоголем из материала его наблюдений, была и в своей правде, и в своей лжи обусловлена свойствами этого материала. Его наблюдения были наблюдениями художника-психолога, всецело индивидуалистическими; вот почему он сумел разглядеть сокровенные корни исторической жизни, ибо эти корни — в индивидуальном духе, и почему он не сумел выяснить вполне условия питания этих корней, а выяснил только те из этих условий, которые наиболее непосредственно входят в круг отдельной личности. Он впал в такую же крайность, как Белинский, но в крайность прямо противоположную: неверной мысли о единоспасующей силе общественных форм он противопоставил не менее ложную в своей исключительности мысль о единоспасующей силе личной нравственности.

Никогда не поймет Гоголя тот, кто захочет видеть в нем поэта. Он не был поэтом и не хотел им быть. Неразгаданная тайна его творчества заключается в том, что, обладая великим художественным талантом, он не был свободно и радостно увлекаем своим гением, а был изнутри подвигнут запречься в ярмо, как угрюмый раб, как вол. Крылатый вол — так можно сказать о нем, потому что в нем соединились пламенная мечтательность и самая трезвая практичность. Он жил утопией, «как бы сгорая желанием лучшей отчизны, по которой тоскует со дня создания человек», — и весь погрузился в изыскание самых прозаических средств, которыми можно было бы сделать земную юдоль похожей на эту небесную отчизну. Он не хотел быть поэтом; он страстно хотел сделаться специалистом по части обществоведения и обществоустройства, совершенно деловым, до конца практичным, знающим не только законы построения зданий, но и до мелочей всю технику кладки кирпича и разведения извести. Он сам торжественно писал о себе: «Создал меня Бог и не скрыл от меня назначения моего. Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всякий человек, не только один я. Дело мое — *душа и прочное дело жизни*». Это значит: прочное устройство общей жизни путем устройства души.

Гоголь не написал обещанной им «Прощальной повести»; последней книгою, которую он дал русскому обществу, его завещанием, остается книга его писем. Она вся в своих подробностях — заблуждение, но ее частные ошибки не умаляют ценности той непререкаемой истины, которую впервые у нас высказал в ней Гоголь: истины об индивидуальном духе, как о последнем плотном ядре, из которого все исходят и на который должны быть направлены все усилия преобразователей.

